

МАРК БЕРКОЛАЙКО

ЕГО РОМАН С ЖИЗНЬЮ БЫЛ ВЕЧНОЙ ВЕСНОЙ

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ – О ВЫДАЮЩЕМСЯ МАТЕМАТИКЕ,
ОДНОМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
МАРКЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ КРАСНОСЕЛЬСКОМ НАКАНУНЕ ЕГО ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ

Выбрав это название, я не утверждаю, что жизнь Марка Александровича – просто Марка, как называли его в разговорах между собой и корифеи Школы, и студенты, считающие себя причастными к ней, – была безоблачной. И облаков, и туч, и гроз было в его судьбе с избытком, как, впрочем, и в жизни еще одного «отца-основателя», Селима Григорьевича Крейна, – опять же, просто Селима в «междусобойном» нашем общении; да и в жизни «первоотца» Школы, Владимира Ивановича Соболева, – а вот он всегда, будто бы во славу почтенных университетских традиций, упоминался исключительно по имени-отчеству (возникшее в нашем городе усилиями «отцов-основателей» великолепное сообщество, объединенное той творческой атмосферой и преемственностью, которые только и позволяют говорить о настоящей научной Школе, следовало бы называть «Воронежская школа функционального анализа»). Конечно, хорошие математики были в Воронеже с момента эвакуации сюда Юрьевского (Дерптского) университета, но знаменитая Школа начала отсчет своей жизни с 1951–1952 годов, когда, откликнувшись на приглашение «первоотца», Владимира Ивановича Соболева, в наш город

приехали жить и работать Марк Александрович и Селим Григорьевич. Следом за ними потянулись их лучшие ученики, вокруг чудесной троицы «Соболев-Красносельский-Крейн» стала группироваться местная талантливая молодежь – и Школа «пошла в буйный рост», чему в огромной степени способствовал Борис Иванович Михантьев, ректор ВГУ в 1953–1965 годах, человек редкостно масштабный даже по меркам того плодотворного и противоречивого времени). Но ведь и весной нередко облака, тучи и грозы, однако нет сомнений в том, что через час, ну максимум завтра опять воссияет солнышко и все вокруг заулыбается... ладно, пессимисты, ваша взяла! – ну, максимум через три дня воссияет.

Так получилось, что, пройдя аспирантуру у Якова Брониславовича Рутицкого, одного из первых учеников Красносельского, меньшую часть своей математической жизни я был «красносельцем», а большую,

являясь постоянным участником семинара Селима Григорьевича и Евгения Михайловича Семенова, – «крейновцем».

Это отдельная история и интересная тема – как Красносельский и Крейн, имевшие в ранней молодости прекрасные совместные работы, оставаясь



Марк Александрович
Красносельский
(1920–1997)

друзьями и соратниками, прокладывали потом каждый свое собственное магистральное шоссе, как от них расходились дороги их учеников; как в своем направлении шел Владимир Иванович, но здесь хочу рассказать о другом – о том, как, общаясь с «легендарным Марком» сравнительно редко, успевал счастливо обнаружить его солнечное, моцартовское восприятие математики и жизни.

В 1970-м, уже работая в Москве, Марк Александрович в течение всего весеннего семестра часто приезжал в качестве приглашенного профессора ВИСИ, «строяка», и вел семинары. На один из них был поставлен мой доклад, а исследовал я в своей кандидатской диссертации разнообразные свойства так называемых обобщенных пространств Гёльдера. Года же за четыре до этого Красносельский, обдумывая один казавшийся экзотическим результат из теории приближений, установил, что он есть следствие специфических свойств объектов, относящихся к совсем другой области математики, к так называемой геометрии банаховых пространств. Я же, изрядно потрудившись, обнаружил, что эти примечательные объекты Красносельского в пространствах Гёльдера обладают совсем уж примечательным свойством: а именно, как сейчас бы сказали, «наличием полного отсутствия» – то есть попросту нет их, таковых, и быть не может в принципе.

Рутицкому это показалось забавным, и он решил выпустить меня пред грозные очи Марка, тем паче мною было к тому времени получено уже много других результатов, и если этот, докладываемый, показался бы Красносельскому малозначащим, то вся диссертация в целом от этого пострадала бы не сильно.

Но какое там малозначащим! – Марк мне попросту не поверил. Потом – неслыханное дело! – не поверил Рутицкому, когда тот сказал, что ошибки в моем доказательстве нет, и, наплевав на время, взялся за дело сам, вознамерившись проверить все мои рассуждения и выкладки.

А потом уже я переставал верить глазам своим и ушам: Красносельский, по мере приближения к финишу доказательства, воодушевлялся все сильнее. Он уже даже «болел» за меня, «неизвестно откуда вылезшего» своего тезку, имеющего наглость претендовать на то, чтобы чуть поменять его картину мира; за меня, предъявлявшего ему некоего «уродца», не обладающего привычными чертами, но именно потому оказавшегося вдруг привлекательным... ну, скажем, наподобие французского бульдога, чемпиона по нелепости среди всех собачьих пород.

А когда я «победоносно» закончил, Марк, назвав мои результаты интересными, тут же, с места



М. А. Красносельский и его научная школа.

Первый ряд (слева направо) – П. П. Забрейко, Я. Б. Рутицкий, М. А. Красносельский, Л. А. Ладыженский, И. А. Бахтин; второй ряд – В. В. Стрыгин, Г. А. Безмертных, П. Е. Соболевский, А. В. Кибенко, Ю. В. Покорный; третий ряд – Э. М. Мухамадиев, Р. С. Адамова, Б. Н. Садовский, С. Я. Стеценко, Т. С. Сабиров

в карьер «зафонтанировал», формулируя задачи, за которые мне надобно взяться немедленно. Многие из них я, каюсь, не понял, о некоторых забыл, зато о двух вспомнил, когда спустя несколько лет, пережив немалые успехи в КВНе и написании коротких рассказов жанра «сатира и юмор», эстрадных и телевизионных миниатюр, разочаровался во всем этом, вернулся в математику и занялся пространствами функций обобщенной гладкости, о которых впервые услышал от Красносельского в тот солнечный апрельский день и которые, по-моему, никогда не входили в круг его научных интересов. Однако он, как и Крейн, понимал, «видел» и, главное, любил **всю** математику.

Всю – как одну из самых привлекательных и ярких черт жизни, которую стоит любить.

И вот что еще интересно. Невольными свидетелями нашего с Марком общения были на цыпочках входящие и выходящие кафедральные наши дамы – и буквально через несколько дней закончившие воронежский университет преподаватели «стройка», встречая меня в коридорах, спрашивали: «Правда, что вас недавно похвалил сам Красносельский?» И в ответ на мой кивок, искренне говорили: «Поздравляю!»...

При этом корона на мою голову не водружалась, зато насущно для меня важное происходило: в непросто становящемся благосклонным общественном мнении зрело понимание, что я – не только хороший парень из Баку, не только заядлый КВНщик, но и как математик тоже кое-что собой представляю...

Сам о том не подозревая, Марк Александрович помог мне сделать важный выбор – а дело было так.

Весенний семестр 1974 года я провел в Москве, на факультете повышения квалификации Московского инженерно-строительного института – советская власть, задыхающаяся от собственных несообразностей и мучающая ими народ, еще находила средства на подобные подарки молодым преподавателям: сохранив полную зарплату, имел к тому же бесплатное «спальное место» в трехкомнатной квартире-общежитии на Мичуринском проспекте.

Был предоставлен самому себе, составив индивидуальный план «профессионального роста», включавший в себя минимум посещения лекций, зато максимум – научных семинаров в МИСИ и МГУ, а еще в Институте проблем управления (ИПУ) Академии наук, где работал Красносельский, а еще в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ), тоже АН СССР, где узнал о многих смелых и чуждых советскому строю экономических теориях, бродивших в мире свободно, а в Москве – полуподпольно.

А по вечерам, – но это уже, разумеется, вне индивидуального плана, – консерватория и театры. Тогда это тоже было дорогим удовольствием, тем более учитывая выпадающие доходы от репетиторства, однако выручали гонорары за «веселые» тексты. К счастью или «как назло», но они шли тогда потоком, буквально из всех посещаемых мною редакций, особенно «Литературной газеты», Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Спасибо этим гонорарам и из моего сегодня, но все же шли они, скорее, «как назло», ибо чарующая легкость их зарабатывания слишком наглядно противоречила трудам, затрачиваемым на написание одной мало-мальски сносной математической статьи, не говоря уже о статье, которой можно гордиться долго.

Велик был соблазн переквалифицироваться, тем паче что хорошо ко мне относившийся знаменитый сценарист Аркадий Инин так прямо и сказал: «Сейчас ты пребываешь в ранге „юмориста из Воронежа“, балующегося текстами в свободное от доцентства время, что, в общем, мило, симпатично, но не более. Для того же, чтобы тебя воспринимали всерьез и позволяли иметь хорошие деньги, надо переехать в Москву и писать по десять-двенадцать часов в день. Как я, за пять лет заработавший на большую кооперативную квартиру. Как Миша Жванецкий, наплевавший, наконец, на родную Одессу...»

И ведь надо же, именно со Жванецким я познакомился совсем недавно на Всесоюзном радио, где вокруг него, щебеча «Ах, Мишенька!...», крутилась вся редакция, меня же ему отрекомендовали в точности так, как сказал Инин: «Юморист из Воронежа. Доцент, математик!» – на что «Мишенька» среагировал весьма вяло: «Доцент-юморист? И такое бывает... Зато нетупой доцент, как в моей миниатюре для Райкина». Однако и эта сомнительная острота была встречена хохотом, и самое противное, что даже из меня вырвалось угодливое «хи-хи!».

...Итак, весной 1974 года я был в сомнениях и колебаниях, к чему меня все же тянет сильнее – к математике или литературе, но посещаемые в ИПУ, МГУ и ЦЭМИ семинары, особенно те, которыми руководил Марк, перевешивали чашу весов в сторону науки, где денег много меньше, но гораздо больше логики и гармонии.

Перевешивали, но чуть-чуть...

А тем временем Аркадий Арканов подарил мне два билета в Театр сатиры на спектакль по его с Григорием Гориним пьесе «Маленькие комедии большого дома», пользовавшийся в Москве огромной популярностью. В нем были заняты блистательные артисты: Миронов, Пельтцер, Ширвиндт, Папанов, Мишулин – но ничто, замечу в скобках, в этом впол-



Творцы Воронежской
математической школы
М. А. Красносельский и В. И. Соболев

не милым действе не предвещало будущего взлета Горина-драматурга, достигшего в пьесах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Дом, который построил Свифт», в киносценарии «О бедном гусаре замолвите слово» высоты фантастической!

Жена приехать в Москву не смогла, и я пригласил Марка. Он, к удивлению моему, легко согласился – а я этой легкости немало обрадовался: предыдущим летом мне от него была передана диссертация некоего Ш., тематика которой имела отношение к задачам, интересовавшим меня еще во время учебы в Баку. Проклиная тяжкую свою участь, я продирался сквозь нее долго, особенно запомнилось, как, сидя на одном из волнорезов Дагомысского пляжа, в сотый раз перечитываю фразы из рассуждений Ш. и из монографии по алгебраической топологии, пытаясь объединить эту заумь единым смыслом – и хочется запустить на пятиметровую глубину сначала диссертацию, а следом за нею – и книгу... но нельзя, ведь Марк вспомнил обо мне и именно меня попросил разобраться...

Кое-как все же разобрался, и в Москве, прощаясь с Красносельским после каждого семинара в ИПУ, ждал, что он спросит: «Так что там у Ш. сделано?» Ждал с некоторым страхом – а вдруг мой ответ покажется ему поверхностным, но ждал и с некоторой надеждой – а вдруг отвечу так «завлекательно», что он предложит рассказать подробности в его лаборатории, а я и там блесну, а потом... потом случится неизвестно что, но несомненно то судьбоносное, которое поможет мне принять окончательное решение.

Но Марк не спрашивал, и мне становилось все яснее, что он попросту о работе Ш. забыл, а у меня решимости ему о ней напомнить – не хватит.

Однако совместное посещение театра все могло изменить: антракт, путь до метро, четыре остано-

вки до момента его пересадки – и нечем ему будет занять это время, тут-то, авось, и выплывет Ш. со своими исследованиями...

Красносельский оказался на удивление благодарным зрителем, громче и залиvistее всех смеясь шуткам, утирая слезы в трогательных местах, дольше всех аплодируя – и, по-моему, актеры просто обязаны были устроить ему ответную овацию! Но не устроили, разумеется, а он все никак не мог «отойти» от впечатлений и всю дорогу до метро и уже на эскалаторе напевал припев из песни Д. Тухманова (текст И. Шаферана), которой заканчивалась самая романтическая из пяти только что пережитых нами театральных новелл: «Три месяца лето, Три месяца осень, Три месяца зима – И вечная весна!»...

Напевал, время от времени замечая: «Прекрасная песня! А тебе она как?»

Я в ответ бурчал: «Нравится...» и думал, что коль скоро наш математический гуру до сей поры проживает происходившее на сцене, то приставать к нему с профессиональными разговорами бестактно.

А что не бестактно? Начать подпевать? – однако, когда поезд тронулся в путь, Марк спросил:

– Так что там Ш., здорово шагнул вперед?

О, наконец-то!

– Скорее, вбок, – воодушевился я, – ничего нового для граничных задач он не получил, но то, что получено намного раньше и не им, объяснил красиво.

– А именно?

Начал излагать, однако успел произнести не более пяти-шести фраз – и мечта моя выступить у Марка Александровича на семинаре рухнула: в лягающем вагоне метро громко и уверенно, все мгновенно поняв и оценив, заговорил он сам.

И слушал я его, восхищаясь, как воробей, которому позволили полюбоваться полетом журав-



М. А. Красносельский
и его ученики
Н. А. Бобылев, П. П. Забрейко

ля: мало того, что – экспромтом и неожиданно для меня – он интерпретировал угаданные им в ту же секунду центральные результаты диссертации Ш., так еще и объяснил, как тому следовало двигаться, чтобы получить что-то принципиально новое, а не просто создать эффектную упаковку старого.

И черт с нею, с мечтой, мне хватило потом выступлений по самостоятельно найденной мною тематике на многих строгих и престижных семинарах страны! Главное, что этот «прекрасный полет журавля» заставил меня сделать выбор в пользу науки...

Впрочем, был еще один аргумент в пользу этого выбора – возможно, несколько странный или даже смешной: любясь Марком Александровичем, я вдруг уловил, что он и Жванецкий, даже с учетом тогдашней их разницы в возрасте, очень схожи внешне.

Оба – круглоголовые, уверенные в себе крепыши с одинаковой, генетически обусловленной, формой носа...

Однако постоянная хитроватая полуулыбка писателя словно бы говорила: «Сейчас посмешу, только не забудьте мне заплатить», а радостная, «изнутри идущая» улыбка математика обещала: «Сейчас расскажу что-то очень интересное, только постарайтесь меня понять».

И такая улыбка мне понравилась тогда, да и нравится теперь гораздо больше!

Рынок? – о да, писатель-острослов имеет гораздо более высокую «современную стоимость»: о нем знают миллионы, а о Красносельском – едва ли пять тысяч специалистов во всем мире...

Вот только лучшие его теоремы будут применять всегда, когда речь пойдет о сложных нелинейных моделях!

Вот только дальнейшее проникновение в тайны природы, попытки понять усложняющийся мир и общество уже требуют – и будут требовать потом – все более изощренного нелинейного анализа, одним из классиков которого был Марк Александрович Красносельский.

Но, как известно, человек лишь предполагает, а располагает Кто-то другой или Что-то другое: в литературу я возвращался. Писал пьесы, они ставились и издавались; написал киносценарий, который был почти запущен на Мосфильме, в творческом объединении Сергея Бондарчука... но только почти, ибо разразился путч и будущий фильм, вместе с объединением и всей страной, ухнул в тартарары...

С 1991-го освоил столько профессий, что и простое перечисление утомляет. «Каноническую» математику ближе к концу 90-х оставил, правда, в течение восьми счастливых лет удалось еще поработать с И. Б. Руссманом и выпустить несколько крепких статей по математическим моделям экономики знаний и фондовых рынков... потом и это, увы, закончилось...

А сейчас работаю над седьмым своим романом, «Доктор Фауст и его агентура». В нем судьба главного героя, Наумыча, прозванного боготворящими его учениками Доктором Фаустом, имеет много «пересечений» с судьбой Владимира Наумовича Эйтингона, с которым так славно довелось пообщаться в последние десять лет его жизни. И теперь хочу привести из этого еще не законченного произведения небольшой фрагмент, описывающий, как Наумыч общался с выдающимся математиком, в котором легко угадывается Марк Александрович. Прошу только не искать буквального сходства, ибо текст это художественный, и он – по определению – не может существовать без некоторой доли авторских фантазий, вымыслов и домыслов.

Сравнительно недалеко от Недогонеза в еще неширокий, но уже тихий Дон впадает живописная речушка с явно тюркским названием, ясно дающим понять, кто когда-то был хозяином этих мест. Там в советское время была расположена турбаза «Березка», никакому заводу или вузу не принадлежавшая, а потому предоставлявшая летний отдых народу не узко ведомственному, а бойкому, кампанейскому, в основном молодому. Народ этот купался, загорал, пил, крутил романы – не черноморского накала, однако тоже вспыхивавшие и гаснувшие пусть не как костры, так хотя бы как костерки.

Осенью бурливое летнее смешение слоев и профессий сменялось небыстрым бытием пенсионеров, ветеранов и инвалидов, которые не то что на романы, а и на простые оживленья чувств были уже не способны; зимой же все замирало, но при этом, однако, в конце января случался всплеск: на традиционную математическую Школу съезжались ученые со всего Союза.

А иногда даже и зарубежный люд бдящей Конторой на нее допускался.

Это были не конференции со строгой тематической заданностью, а именно Школы: с циклами лекций по самым животрепещущим направлениям математики, с вольно устраиваемыми семинарами, с поздними танцами в холле пятого этажа и с поздними просвещающими беседами о новостях генетики, о достижениях космологии, о модных исторических или литературоведческих воззрениях – в холлах других. А в номерах – застолья, а на лыжне, освещенной луной и звездами, мелькали быстрые фигуры, и лишь шуриание их лыж пугало зайцев, лис, кабанов и лосей.

В зимнем заповедном лесу, грамотно прореженном, нет места нагромождениям валежника и стволам, растущим вяло, без жадного желания вымахать и стать неохватными. Тропинки и просеки в нем не случайны, а давно расчерчены на подробнейших картах; в таком лесу Красные Шапочки не становятся жертвами злоумышляющих Волков, на его опушках бабушки не ждут, пока им принесут поесть, но к приходу обожаемых внучек сами пекут пироги с давным-давно замороженной вишней, пускающей сок в укутавшее ее тесто.

Незадолго до позднего рассвета лес неподвижен, как слушатели в филармоническом зале – вот так же неподвижен был и Наумыч, неожиданно для самого себя согласившийся заняться «на зорьке» подледным ловом – вместе со страстным рыбаком, бывшим недогонезцем, давно уже, впрочем, переехавшим в Москву и ставшим там заведующим лабораторией в престижном академическом институте.

Наумыч, которому полученный на вечернем отделении матфака багаж знаний не позволял до конца понимать рассказываемое на лекциях и семинарах, наслаждался самой атмосферой Школы и пребывал в несвойственном ему восторженном состоянии. Поэтому к предложению проснуться в несуетную рань, отправиться ловить рыбу (которую терпеть не мог) и там, между делом, послушать «кое-что новенькое» отнесся с энтузиазмом, тем более что «рыбака» почитал не только за брызжущий талант, но и за поддержку, которую тот оказывал ему в начале шестидесятых, когда фамилия отбывающего срок отца, выдающегося советского разведчика, очень многих отпугивала.

Особенно же Доктора Фауста привлекал и даже умилял тот детский восторг, с которым «рыбак» рассказывал о собственных результатах или о достижениях своих учеников... но непременно о самых свежих, которым не более года от роду. Через год «тему» подхватывали другие, а «основоположник» переключался на что-нибудь еще более «новенькое»; за развитием же «старенького» следил слегка насмешливо, как Дон Жуан за церемонией венчания бывшей своей любовницы с каким-нибудь тоже благородным, но наивным доном.

Они расположились у одной из пробитых совсем недавно лунок, леска с легким грузилом поддалась ленивому течению и устремилась куда-то вбок... изголодавшая рыба должна была бы, согласно канонам, наживку наброситься, но отчего-то медлила... «рыбак» однако же не загоревал, а, выждав несколько минут, заговорил:

– Представим себе, что небольшой участок подверженного нелинейным вибрациям транспорта намазан медом... а чем еще его можно намазать? – прибавил он с досадой Винни Пуха, обнаружившего, что такую драгоценность приходится тратить на такую фигню.

– На этом участке расположен кубик. Если б меда не было, а лента сильно вибрировала, кубик быстро бы слетел. Если б он был посажен на клей, то его бы вибрации не беспокоили. Но ведь вместо клея на транспортере мед, и эта разница между липкостью и клейкостью обеспечивает лишь некоторый конечный запас устойчивости... – теперь в голосе не было и доли сожаления, теперь даже и гипотетическому медвежонку стало бы ясно, что пролить на такой, подверженный неурядицам транспортер чуть-чуть меда было абсолютно необходимо. – Вот вам простой бытовой пример гистерезиса. Подобное, однако, изучается уже довольно давно...

Мог бы добавить, что строгая математическая модель, объединяющая самые разнообразные проявления эффекта гистерезиса, еще в шестидесятые годы, впервые в мире, стала разрабатываться именно на его семинаре в Недогонежском университете...

Но не добавил, зачем? Не на отчетном же собрании выступал!

Мог бы добавить также, что ректор, злобное ничтожество, смог осуществить свою давнюю мечту разогнать «синагогу» на матфаке: выжил «рыбака», который перетянул за собою в Москву лучших учеников, кстати, сплошь и стопроцентно русских; выжил еще одного звездного профессора – и Недогонежский университет перестал быть Меккой для «нелинейщиков» всего мира.

Но не добавил, зачем? Не на кухне же, традиционном месте припоминания обид, они сидели, а посреди реки, замерзшей, как замерзала потихоньку научная дерзость в дряхлеющей стране – однако и подо льдом все же еще была какая-то жизнь, и наука в университете, раздраемая бюрократическими вывихами, как-то еще дышала.

И вот ведь только в чем оказалась финальная и фатальная разница: река дождалась живительной весны, а университет уже и не ждет.

Всего только в этом.

Однако раннее морозное утро 86-го года ничего страшного еще не сулило, «рыбаку» суждено было жить еще лет десять, ученики его еще не получили кафедры в университетах Европы, Штатов и Австралии, а сам он, конечно же, не подозревал, что абстракции, им и сотрудниками придуманные, окажутся для мира настолько провидческими и тревожными.

Ах, какая дивная была у «рыбака» аудитория!

Сосны, не замёрзшие, но замершие, его слушали...

Лед, распластавшийся на реке подобно насильнику и придавивший ее, – тоже слушал...

Звезды, время от времени заставлявшие лед казаться не зловеще серым, а безмятежно голубым, прислушивались, хотя мог ли человеческий разум, такой еще, по сути, молодой, поведать им нечто такое, что не было постигнуто ими в их вечном, миллионноградусном горении?

И снег, где-то недалеко затаившийся и мечтающий сбежать из плена безгрешных небес, вслушивался; а хмурые, как советские пограничники, облака прислушивались так, будто опасались, что вот-вот налетит «ветер перемен» и в их пока еще сомкнутом строе образуются прорехи, через которые снег заспешит к земле частым пунктиром снежинок и кляксами хлопьев.

– И выделяются две поверхности, – увлеченно рассказывал он, – а между ними расположены управления, которые не позволяют разнести вдребезги всю систему, и она поэтому сохраняет свойство, которое мы с Лешей и Колей назвали виброустойчивостью. А вот и Коля! Проспал, конечно же!

А Коля не мог не проспать, поскольку только в половине третьего спустился в свою комнату на первом этаже с пятого, в холле которого славно гудела молодежь. Совсем зеленая молодежь, которой ужас как хотелось поглядеть на пока еще живых классиков.

Коля «классиком» не считался, более того, даже просто к математикам ни один ищущий девичий взгляд его бы не отнес. Разве могло это круглое улыбочивое лицо принадлежать кому-то наделенному потрясающе мощным интеллектом? Разве за хитровато вззирающими на мир глазками мог таиться ум, словно специально созданный для служения математике, однако успевающий – «между делом, быстренько» – выучить, например, латынь, чтобы Гоция и Тацита читать исключительно в подлинниках?!



Справа налево: академик А. Н. Колмогоров, М. А. Красносельский, Г. А. Безсмертных, П. Е. Соболевский, В. М. Тихомиров

Вопросы, на которые не смогли бы ответить Колины родители.

Ни отец, «на всякий случай» научивший сына всем тонкостям обращения с разводными ключами, прокладками, фланцами, кран-буксами и вентилями – ведь мало ли что, степень доктора физико-математических наук могут отнять, звание профессора аннулировать, а протекания и засоры будут всегда! Ни мать не ответила бы... Разве что какая-то из далеких прабабок успела удачно отдаться Чебышёву ли, Лобачевскому или даже самому Леонарду Эйлеру? – Бог весть!

Как ни странно, в «Березку» Коля приезжал не ради математики, а сбегая от нее. Исключительно с целью развеяться приезжал: порыбачить и будущей научной бодрости ради – пофлиртовать. Он занимал каморку сантехника, который оставлял ему все свои инструменты, а сам уходил в десятидневный отпуск, абсолютно спокойный за трубы, унитазы, сливные бачки и краны. Угловая комнатка, расположенная рядом с кладовками, имела отдельный выход во двор и можно было, никого не беспокоя, уходить на реку в любой рассветный или дневной час. Можно было мгновенно нырять в подвал, лишь только какой-нибудь стояк подавал признаки беспокойства; наконец, можно было дремать в тишине, бессовестно манкируя лекциями.

Завидев Колю, Наумыч тихо рассмеялся, вспомнив, какие блистательные шутки и афоризмы, мигом расхлывшиеся среди «математических масс», тот «выдавал» во время каждой Школы. Вот и на этой он уже отметился экспромтом, рожденным без раздумий, молниеносно, и только глазки его, оглядывающие хохочущих коллег, стали еще хитрее и пронзительнее.

Это случилось в ночь после банкета, накануне которого «школьники» подробно обсудили здоровенный синяк на широком шишковатом лбу знаменитого математика Горностаева, который и трудные задачи, и жизнь со всеми присущими ей степенями, званиями, должностями, женами и любовницами атаковал одинаково, склонив голову по-бычьему.

Причина синяка состояла в том, что в однотипных турбазовских номерах двери между комнатой и тамбуром – прихожей комнатой являли собою, в верхней их части, вставленное в хилую раму матовое стекло, расписанное узорами неслыханной прихотливости – почтенного же академика по пути с лекции озарила какая-то ценная мысль, и он так спешил донести ее до стола, что, будучи ослеплен пробившимися сквозь матовую преграду лучами солнца, тамбур одолел одним широким шагом, а на ручку закрытой двери в комнату нажать забыл... И стекло в результате воистину лобового столкновения с мыслителем вылетело целиком и улеглось на пол комнаты, даже не треснув и сохранив все покрывающие его узоры.

И вот же совпадение: находясь после банкета и танцев уже внутри, а не вне номера, в котором пели русские народные песни, Коля прислонился к закрытой промежуточной двери – и, стало быть, в первую очередь к стеклу, – как раз тогда, когда завели «Вниз по матушке по Волге». Самозабвенным певуном не являясь, он тем не менее с первых же тактов этой раздольной песни начал испытывать то же, что и джеклондоновские ирландские терьеры Майкл и Джерри: неодолимая сила разжала челюсти, в горле что-то заклокотало, а связки исторгли из глубины веков и тьмы инстинктов очень ладное подвывание.

Восторг так распырил согретую водкой Колину душу, что когда хор дошел до финального

*«Проворачивай, ребя... ребята,
Ко крутому бережочку!»*

он, чтобы уже не просто подвить, но всаделишно взвить, наполнил легкие до отказа, расправил плечи, еще теснее прижался к стеклу – и...

Взвить успел, однако тут же и выяснилось, что матовое полотно способно все так же легко вылетать и в противоположную, по сравнению с номером академика Горностаева, сторону.

Испуганно ахнули все, кроме Коли – он же обернулся, увидел, что стекло лежит на полу в тамбуре, опять же целехонькое, и прокомментировал:

– Оказывается, я умею получать ж...ой результаты, аналогичные тем, которые всемирно известный ученый получает головой!

Придя на реку, Коля, надеясь подремать, установил свой раскладной стульчик у самой дальней лунки, но высокочтимый Учитель и Наставник в покое его не оставил.

– У меня не клюет, – сообщил он, каждые пятнадцать минут подбегая к любимому ученику, – а у тебя вон уже сколько! Да, сегодня не мой день, но вот что я подумал... – и далее следовал очередной поток соображений о том, как можно «нащупать» новые свойства оператора-гистеранта и векторных полей, характерных для виброустойчивых дифференциальных уравнений...

А «всеми забытый» Наумыч чувствовал себя на удивление хорошо и покойно. Он сидел на дощатом ящике из-под минеральной воды, был, в отличие от коллег, не в тяжелом рыбацьем тулупе, а в обычном своем пальто и постепенно замерзал до дремотного оцепенения, которое на войне мгновенно улетучивалось при любой тревоге, но в годы мира уносило голову «в полет», умудряясь объединять в ней реальность и неотчетливые образы, невесть откуда взявшиеся и неведомо куда исчезающие.

Вот и на реке, когда рассвет пребывал где-то за горизонтом и топтался там, как робкий посетитель у порога министерского кабинета, словно бы доносящиеся откуда-то со стороны разговоры «рыбака» и Николая о виброустойчивости перемешивались с выныривающими из глубин памяти «производством энтропии», «теоремой Пригожина»... потом в эту «кашку-малашку» посыпались, как куски белого рафинада, «мир-экономика», «мир-империя», «мир-система» – и все это вместе стало сладким предощущением нового знания.

И какого знания! – не за подобным ли гонялся когда-то сам Фауст?!

...А вспоминая о Марке Александровиче Красносельском, думаю, что совсем не случайно, не просто «под настроение» ему показалась прекрасной та песня: «Три месяца лето, Три месяца осень, Три месяца зима...» – ведь в его романе с математикой... нет, более общо, в его романе с жизнью была воистину вечная весна!